

СЛУЖИТЬ БЫ РАД...

Мне отмщение и Аз воздам

«По уставу два бойца обязаны за полчаса закопать танк! Значит, так. Ты и вот ты – начали, время пошло!» Трясущийся с перепою жирный палец после недолгих колебаний ткнул в двух прогнивших интеллигентешек. Но ни я, ни мой друг Мишка понятия не имели – для чего было вообще закапывать этот чертов танк? Кому он помешал?

По правде говоря, закапывать мы должны были танк лишь воображаемый. Просто нашему полутрезвому майору, имевшему обыкновение с невинным видом тушить сигареты о деревянные ящики со взрывчаткой, – образцовому вояке, почти такому же крепкому и бывалому, как и тупому, – пришла в голову оригинальная идея: приспособить молодняк для уничтожения устаревших запасов противохимического оружия, сиречь ампул с аммиаком. И он приказал рыть яму поглубже – прямо между складов, посреди расположения части. Мы с Мишкой честно прокопошились положенные по уставу пятнадцать минут на каменном грунте, лишь слегка подпортив рельеф местности. Размеров танка мы себе ясно не представляли, но и так было ясно, что зарыть в нашей яме можно было разве что игрушечный. Брезгливо осмотрев дело рук наших, майор кликнул всех остальных, издевательски посмеивающихся в сторонке. И вот все дружно взялись и довели размеры ямы до братской могилы. Наш неутомимый затейник-надсмотрщик приказал выволакивать ящики. В них находились картонные коробки, где аккуратными рядками были уложены ампулы с якобы спасительной при химическом нападении влагой, срок хранения которой истек еще до нашего рождения.

Следующее распоряжение затуманенного алкогольными парами майора возбуждало нехорошее подозрение, что он, возможно, видит мир перевернутым. Одному из нас (а это был снова я) было велено спуститься в яму и распаковывать картонки, сбрасываемые всеми остальными. Через пару минут, сообразив, что я, погребенный под коробками, вот-вот скроюсь из вида, майор сделал над собой усилие и, перевернув диспозицию, придал миру более привычное положение: теперь один я сверху кидал, а остальные распаковывали. Яма быстро наполнялась, вскоре все перебрались наверх и продолжали швырять ампулы оттуда. Они почему-то и не думали разбиваться – вероятно, стекло было противотанковым. Чем быстрее наполнялась яма, тем большее беспокойство проявлял майор, ибо ящиков все не убывало. Он забегал, заглядывая в яму то с одной, то с другой стороны, пытаясь как-то оценить ее размеры. Но и так было ясно, что в его расчеты вкралась ошибка. Вдруг этого великого стратега осенило, и он заорал: «Коли их! Коли!» Сначала мы подумали, что он поднимает нас в штыковую атаку, но потом мы разобрались, что к чему. А приказы, как было известно даже нам, не обсуждают – и мы, сидя на корточках, кололи их и кололи об угол ямы, эти нескончаемые аммиачные ампулы... Воняло сильно, но мерзко, и скоро по затуманенности парами мы превзошли нашего командира.

Но приближалось время долгожданного обеда. Пустые ящики приказано было свалить в кучу и подпалить. Как тут было не воспользоваться отвлеченным состоянием духа майора, с трудом фокусирующего свои окуляры на одной точке! Вот он, наш шанс отомстить мучителю! Мы поняли друг друга без слов. В костер со всех сторон мы подсунули еще нераспечатанные коробки и, втайне ликуя, удалились...

...Возвращались мы не спеша. Издалека доносились свистящие разрывы, радовавшие ухо. Правда, было немного не по себе – представлялся окровавленный майор, ползущий к нам из последних сил и протягивающий свои дрожащие руки... Однако он, хранимый благосклонной к пьяным судьбой, безразлично стоял среди пролетающих осколков, покачиваясь и бормоча с блаженной улыбкой: «Нехорошо, ребята, не-хо-ро-шо!..»

Праздник горемык

Армия – концентрация абсурда не только советской системы, но и жизни как таковой. Здесь страшно и весело одновременно. Здесь приобретаешь опасную свободу от всякой ответственности за свои поступки, и, полностью облегчившись, как невесомое перышко на ветру, становишься всегда готов ко всему самому ужасному. Это и веселит – до судорог... Зато потом, когда все уже позади, остаются замечательные воспоминания!

Видимо, то же самое можно будет потом сказать и о своей жизни...

...Абсолютно непрактичный, но неистребимого оптимизма и обезоруживающего обаяния, мой отец и тут выручил меня, а заодно и моего друга. По возрасту старше «дедов», по статусу презренные «духи», мы с ним числились кандидатами в мастера спорта по акробатике. Недоуменно оглядывая, начиная с ног и застревая где-то в районе живота: «Акробаты? По директиве Генштаба?» – нас явно принимали за каких-то агентов секретной службы. Немного утешало то, что одному из наших (такому же, как и мы, пианисту-акробату) поначалу вообще ни на одном складе не нашлось шинели подходящей грушевидной формы. И ничего, как-то служил.

Желание было скромное и только одно: по возможности тихо и незаметно отдать свой воинский долг где-нибудь поближе к Москве, в качестве аккомпаниатора какого-нибудь армейского спортклуба. Но этого еще нужно было дожидаться, а пока что нас отправили в Тверь, где мы перекололи все ампулы, переложили с места на место все ящики со снарядами, покрасили детский сад сыну капитана, перевезли холодильник жене майора, покрыли зеленым дерном с берега реки вытоптанные газоны к приезду полковника и выпустили по девять пуль в направлении мишени...

А еще наша команда из десяти человек (все остальные, кроме нас с Мишей, были настоящими спортсменами) постоянно дежурила по столовой – чистя, моя, помогая готовить поварам и накрывая на две тысячи человек. Работали до двух-трех ночи, а в семь уже вламывалась на завтрак солдатня – поэтому ночевали на узеньких лавках прямо в зале. Мишка специализировался по большей части по варочному цеху, чистил котлы (интересно, в сапогах он туда залезал или без?), и когда повара не могли его дозваться, они надрывали глотку всегда одним и тем же иступленным выкриком: «Варочный, ссука бля на х...!!!», ставшим как бы традиционным приветствием. Он часто засыпал в сушилке на трубах, по которым ровно в пять пускали пар. Проспав как-то раз, он еле-еле проснулся уже сильно пересушенным... Занятна была и работа подавальщика посуды: казалось, всего делов-то – взять на живот стопку тяжелых фаянсовых тарелок до подбородка и пройти с ними до окошка. Всего какие-нибудь десять шагов - а вот поди ж ты! Каждый мог стать твоим последним: кафельный пол мойки был покрыт толстым слоем несмываемого жира. Этот комбизир клали нам в перловую кашу. Кто ее съел, мог потом уже ничего и не пить: покрытые жиром внутренности все равно не впитывали ни капли влаги. Предназначался он на самом деле свиньям, бывшим тоже на довольствии нашей воинской части. Они его в конце концов и получали, доедая за нами. Другой нашей основной едой была картошка. Выявить съедобную среди груды мороженого гнилья можно было лишь надрезав и понюхав. Понюхать или не понюхать – вот в чем был гамлетовский вопрос! Заколдобился, встали волосы дыбом – значит, не повезло. От применения специальной машины для чистки картошки пришлось отказаться сразу: после нее оставались лишь маленькие игральные кубики. Вручную получалось намного лучше, если только удавалось определить, какая сторона ножа задумывалась в качестве режущей. Недостаток картошки компенсировался водой. Полученная в результате таких мучений субстанция именовалась пюре, будучи на самом деле абсолютно несъедобной жижей.

Зато и у нас, горемык, был свой Праздник. Повара, за два года службы приращивающие к животу по десятку килограмм, после ужина жарили для себя уворованные куриные ляжки. Их останки, выскребаемые нами и вымакиваемые хлебом с огромного противня поздно ночью по окончании работ – манна небесная, вкуснее которой уж точно ничего в жизни никогда не будет...

Про колобка

Как-то так вышло, что мою воинскую повинность (хотя кто тут в чем был повинен?) я отбывал в одном месте, тогда как воинский долг отдал где-то совсем в другом. Даже намеренно стараясь запутать следы, вряд ли можно было бы выдумать легенду изощреннее. В воинском билете значилось, что после присяги я весь срок не покидал артиллерийскую часть где-то под Коломной, но я точно помню, что туда даже не заглядывал. А был я посажен на поезд Тверь-Москва и отправлен в столичную Спорт-роту.

Это был перевалочный пункт, куда каждый месяц нужно было являться за дальнейшей командировкой. Секундное дело растягивалось на дни: то бумага не была вовремя готова, то гнида-писарь, вдоволь не покуражившись, не желал нести ее на подпись. Здесь я впервые увидел лицо советского спорта – разбитое в кровь и со свихнутой челюстью от бесчисленных разборок. Особенно зрелищными были табуреточные побоища в проходах между двухъярусными железными койками, да и ночные коридорные мордобои каратистов с боксерами были не лишены спортивного интереса. Задерживаться здесь и выбирать чью-то сторону, однако, как-то не хотелось. А в шесть, темным морозным утром после бессонной ночи, когда над ухом шарахало «ррротаподъеммм!» и я с омерзением выволакивал на плац свою полубесчувственную брэнную оболочку – в мозгу у меня вяло плескалась лишь одна мысль: врешь, не возьмешь!..

Когда, наконец, выдавали долгожданную командировку, я отбывал в роту ЦСК, что у Аэровокзала. Тут вообще никто не знал, когда я должен появиться, так что я мог и не прибывать вовсе. Но для приличия я пару раз все же прибыл. А потом отыскалась лазейка. Моя безудержная (в определенных рамках) жажда свободы и необоримое желание, как-нибудь исхитрившись, хоть ненадолго стать предателем Родины (и выспаться), попала в резонанс с мечтой не только жено-, но и чадолюбивого капитана роты – мечтой об импортной колясочке для своего бэби. Она (мечта, а не колясочка) делала офицера доблестной советской Армии непростительно уязвимым. Этаким заправским фокусником мой отец добыл коляску в магазине, где их отродясь не бывало, и одним махом осуществил обе наших недостойных мечты. Теперь мое командировочное удостоверение оставалось при мне, его же бледная и не имеющая никакой силы фотокопия, которую я сам нагло переснимал в Управлении якобы по распоряжению с какого-то верху, запиралась ежемесячно в сейф писарем, а я – я был свободен!

Я скучал за роялем и даже пописывал музыку, сидя в тренировочном костюме среди ругани надрывающих глотку тренеров, среди кувыркающихся в вихрях магнезии на разных пыточных приспособлениях подростков – бывшей и будущей гордости страны, а в раздевалке гигантского гимнастического зала пылилась моя военная форма, заброшенная как нелюбимая, хоть и законная, жена. Я бы мог облачиться в нее и в любой момент выйти в город – ведь мое удостоверение оставалось при мне. Но я предпочитал полностью сменить личину, и этакой Василисой Прекрасной, скинувшей постылую жабью шкурку, выползти на свет божий во всем цивильном. Я мог прогуляться по парку. Я мог выйти за его решетку и совершить налет на финскую столовую Аэровокзала. Я мог насладиться там изысканным мороженым, хачапури и не менее экзотической тогда пищей. Я мог отправиться вечером домой! И вся эта гигантская армейская машина с генштабом, вся эта королевская конница с ратью никак не могли меня, шалтающего и болтающего, поставить в строй и отмаршировать в ногу, непрерывно плюя в душу.

Homo Athleticus

Главный тренер Команды Гимнастики ЦСКА подполковник Михаил Яковлевич Клименко был в душе прапорщиком, застрявшим на каких-то ранних стадиях человекообразования. Что он – зверь, было ясно и без шепотом произносимой тренерами имени его знаменитой ученицы Леночки Мухиной, разбившейся на помосте и ставшей навек парализованной и прикованной к инвалидной коляске. Это уже потом я узнал о том, что эта знаменитая гимнастка, гордость советского спорта, постоянно мечтала о травме, чтобы отдохнуть – и напрасно. Потому что наш Клименко, лучший тренер Союза, заставлял ее выходить на соревнования с разрывами сухожилий, это он каждый день увозил ее из больницы на тренировки уже после отрыва у нее шейных позвонков – на весь день, без всяких повязок и гипсов... Ей оставалось только буквально воплотить в жизнь его крылатую фразу: «Тебя оставят в покое только тогда, когда ты разобьешься на помосте»...

Это гориллоподобное существо любило в назидание нам принять горизонтальную стойку на одной руке, чем повергало в подобострастный трепет всех присутствующих, кроме лишь его жены – маленькой хрупкой хореографини, которая, вероятно, еще и не то видывала – да нас, двоих солдат. При зале всегда числились парочка невольников. Сначала моим напарником был здоровенный актер молодежного театра Табакова Миша Хомяков (он актерствует там и поныне). Коротая долгие вечера, он безуспешно пытался приобщить меня к боевым искусствам Востока, размахивая перед моим носом руками и ногами в центре пустого зала. Выдохнувшись, он переходил к легендам о любовных победах своего учителя и достойного его ученика – самого себя. Когда ему вышла амнистия, пустующее место занял Костя Нисский, молодой оператор киностудии им. Горького, любитель розыгрышей и откровенной, но забавной похабщины. Если я был употребляем, помимо хозяйственных работ, еще и по своему прямому назначению – в качестве хореографического тапера, то мои напарники этим похвастаться не могли. Было загадкой, как они вообще сюда попали. Вряд ли подполковник Клименко собирался организовывать элитный интеллектуально-художественный кружок. Но, как бы там ни было, в недрах могучего Спортивного Клуба Армии завелась червоточина.

Мы с Костей являли собой классическую клоунскую пару «Толстый и Тонкий». Более полных антиподов нашего уроженца украинской глубинки невозможно было вообразить. Мы были его нескончаемой зубной болью: такие сильно образованные артисты-москали, с еврейскими скрипочками и умненькими головками, криво сидящими на уродливых тельцах с признаками ожирения и дистрофии... Как таких не припахивать! И мы каждый вечер терли и мыли, мыли и терли этот зал размером с летное поле. Мы затаскивали через окно пятиметровые гимнастические маты и, в конце концов, были под всеобщий гогот погребены в страховочной яме под одним из них. Вздымая клубы летучей магнезии, мы выгребали из этой ямы трехметровой глубины тысячи обрезков паралона, чтобы отыскать на дне то, чего там никогда не было – потерянную девочкой-гимнасткой заколку для волос... Чувствовал ли он всю глубину своего ничтожества, мстил ли нам ответным унижением, испытывал ли тонкое садомазохистское удовлетворение от нашего присутствия? Не думаю, чтобы в его душе происходили такие тонкие шевеления. В нормальной армейской части с его подполковничьей высоты таких насекомствующих, как мы, и заметить-то было не возможно. А тут – нос к носу. Вот и терзался он, болезный, глядя на нас, таких неспортивно-неармейских, не клубно-центральных, погубляющих свою жизнь в недостойных устремлениях. И маялся, ища для нас все новые и новые пути спасения...

Пух и прах

...Придя в зал хорошо выспавшимся, бодрым и веселым, я натыкаюсь на Костю, с мрачным видом поджидающим меня у рояля. Настроение сразу падает.

- Ты где шлялся? – спрашивает он тоном сварливой супруги.
- Да вот, припоздал... (в животе что-то нехорошо ворохнулось) Случилось что?
- Случилось! Этот (кивок головы в сторону) тебя спрашивал. Сказал, ровно в час пойдем на рынок. Цыплят покупать. Пятьдесят штук.

Мной начинает овладевать легкое беспокойство. Какие, к черту, цыплята?

– Дочку его двухлетнюю помнишь? Подушка ей нужна пуховая. В тех, что продаются, пух для нее, видишь ли, слишком груб...

Что за бред!

– Конечно бред! Но подушку надо набить. Как – ему все равно. Можем прямо с живых драть, или сначала перебить...

Это уж было слишком даже для нашего питекантропа. Тут ты, Костик, любитель розыгрышей, явно хватил через край! С досадой припоминаю его совсем свежую проделку. Мы были тогда на ЦСКовской загородной базе...

...Стою я себе в единственной кабинке туалета, не спеша готовлюсь добавить мою скромную лепту во всемирные подземные воды. Вдруг дверь, чуть не соскочив с петель, распаивается от резкого удара, и, тесня меня, со словами «пусти скорее, немоготу мне!», в кабинку врывается Костя. Как всякий порядочный мужчина, я прежде всего украдкой бросаю взгляд на его достоинство – и – о боги! – застываю, как громом пораженный...

Костя потом все сетовал, что с ним не было его камеры – за одно мгновение в моем взгляде отразилась тончайшая гамма чувств: зависть, восхищение, отчаяние и священный трепет... Да и было от чего: ТАКОГО я еще не видел! В этот поражающий размерами предмет, в это убеждающее своими безукоризненными формами и детальной подборкой цвета скульптурное произведение из пакли и пластилина Костя вложил весь свой художественный талант. Потом это изделие заняло почетное место на стене, прямо у входа в нашу каморку. Ворвавшийся к нам однажды шеф наткнулся на него, как говорится, нос к носу и от испуга завопил: «Это еще что такое?!» На что мы, по всем уставным формам вытянувшись во фрунт, гаркнули хором: «Член, товарищ подполковник!»

...Нет уж, Костя, моя доверчивость не безгранична – больше ты так надо мной не покуражишься! Разгадав коварный план насмешника, расслабляюсь с чувством превосходства...

И тут замечаю, что наше человекообразное властно и раздраженно манит меня пальцем. По-швейковски бодро и как всегда неискренне желаю здоровья. Знакомая картинка: поза мрачного, бьющего копытом быка, взгляд вниз и вбок, будто что-то напряженно обдумывает. И тут происходит то, во что мой разум отказывается верить:

– Пойдешь с Костей на рынок. Ровно в час. купишь пятьдесят цыплят. Понял?

Автоматически киваю. Вот тебе и шутка. Далеко зашла...

Как побитая собака подползаю к Косте. Такие живые, чудные, маленькие, пушистые, весело галдят, а вот уже пищат от ужаса, а вот уже их тельца валяются ободранные, поруганные, безжизненные... Пытаюсь отогнать от себя эту картину. Начинаю заводиться. Кто мы ему, рабы? Живодерню устраивать! Что он себе позволяет? Да как он смеет! Да он!.. Да я!..

Костя переживает. Он тоже не знает, как поступить. Откажешься – пошлют в часть дослуживать, а нам еще больше половины срока мотать.

Хорошо бы, конечно, выжить... А как же принципы? А, с другой стороны, как же хачапури с пищей?

...Эти часы были, ей-богу, самыми мучительными за всю мою армейскую службу. Костя впал в безучастное состояние. Я же метался, бегал к знакомым из роты, звонил домой и на всякий случай уже прощался с родными. Я был совершенно неспособен разрешить нравственную дилемму: можно ли строить свое благополучие на слезинке замученного цыпленка? Тем более – пятидесяти...

Эх ты, а еще солдат! Пацифист несчастный! В Советскую трижды ордена армию ты зачем пошел? Разве не для того, чтобы отдать стране все долги гражданина? разве не для того, чтобы убивать, чтобы обагрить свои руки кровью врагов твоего Отечества? Так что ж, – возьми, наконец, себя в руки, а в эти руки молоток, и – за Родину! за честь Центрального Спортивного Клуба Армии! – цыпленка так аккуратно молоточком по темечку: ты уж извини!..

Нет, не могу...

И вот час мужества пробил на наших часах, а я так ничего и не решил.

...Как я его не убил, сам не пойму. Да не цыпленка, конечно, – Костю! Он раскололся только перед самым нашим походом на рынок, указывая всем на меня пальцем и извиваясь в припадках буйного веселья. Я был раздавлен. Боже, какое же безмозглое ничтожество без единой капли чувства юмора этот Вовяк-простак! Триумф Кости был полный. Уж он-то, конечно, позаботится о том, чтобы об этом узнало как можно больше народу...

А наш безгрешный начальничек всего-то и хотел простого деревенского счастья – цыплят разводить. Кто бы мог подумать: в городе, на балконе! Утром Костя получил соответствующие указания и, коварный, живо сообразил, какой тут сюжетец вытанцовывается. Роль свою до конца сыграл, падла, корчи мои наблюдал с интересом, и ни один мускул не дрогнул...

Ну, купили мы их, пятьдесят штук, и наш человек из народа, не имея никакого представления о том, как и чем их кормить, всех уморил – кроме той парочки, которой его двухлетняя дочурка собственноручно свернула шею...

Хоть с тех пор прошли годы, и мы свое давно уж отслужили, но каждый раз, болтая с Костей, жду, когда он опять что-нибудь этакое ввернет. Вот и теперь: купил, говорю, дочке двух шиншилл... «Отчего ж не цыплят?..»

Затяжной прыжок

С моим другом Мишкой мы виделись только в спорт-роте. Ему повезло больше: местом его службы была спортивная школа, и проживание дома само собой разумелось. Исхитряться, как мне, ему не приходилось. Другими плюсами были весьма художественные гимнастики и полное отсутствие военного духа. Но вот при получении командировки он застревал надолго: гнида писарь невзлюбил его крепко, всячески оговаривал и пытался сгноить нарядами на кухню. Однако Мишке, с его тверской закалкой и варочным прошлым, все было ни почем.

Так прошли дни и месяцы, и где-то вдалеке забрезжил день избавления.

К этому времени я в нашем гимнастическом зале уже пообвык и даже овладел кое-какими снарядами. К примеру, телефоном без диска, стоящим на столике у вахтера. Диск был снят, чтобы отлученные от своих родителей маленькие гимнасты не смогли позвонить им в другой город и тем самым ввести спортклуб в ненужные расходы. Для нас с Костей это препятствие было просто смешным: звонить можно было и без диска, выстукивая на рычаге соответствующие цифры. Сторожевая бабка так и не смогла понять за все эти долгие месяцы, чего это мы все балуемся с телефоном, а потом с кем-то болтаем, хоть звонка вроде не было?

Другим, не менее увлекательным снарядом, был стоящий у раздевалки автомат с газировкой. Он служил источником «дембельской», с четверным сиропом. Собственно, можно было и с пятерным – дело вкуса, но оптимальным рецептом для меня был все же четверной. Вся хитрость была в специальном ударе, коротком и скользящем, в особое, известное только посвященным место. Нужно было точно рассчитать момент, когда он, поперхнувшись последней струей сиропа, собирался сплюнуть положенной водой, и вдарить ему в душу так, чтоб он захрипел и снова сбился на сироп. Кто из нас не имел дела с этими внушительными пуленепробиваемыми мастодонтами! Будучи побочным продуктом нашей славной оборонной промышленности (наряду с членовредительскими изделиями для детских площадок, противотанковыми пляжными раздевалками и противозачаточными пружинными койками с шишечками – а так же, возможно, незабываемыми толстостенными макаронами и презервативами, воспетыми поэтом словами «броня крепка»), эти газировочные автоматы функционировали так же, как и вся советская государственная машина: безо всякой совести и уж, конечно, без стаканов, то и дело норовя обжудить и зажрать монетку. Тот, кто десятки раз отходил от бездушного ящика с пересохшими губами и понапрасну разбитыми кулаками, – тот поймет нашу мстительную радость, когда мы, отыскав у одного из них ахиллесову пяту, заставили расплачиваться за всех.

А когда шеф забирал нас с Костей в загородный спорткомплекс Ватутинки (туда, где на стене нашей клетушки красовалось костин пластилиновый шедевр), мы осваивали

и другие нехитрые премудрости. На перевернутом утюге с отвинченной для удобства ручкой жарили дополнительно к скудному рациону яичницу (если совсем без сковородки – тогда только по одному яйцу в порядке очереди), а из провода, нитки, двух лезвий безопасной бритвы и шести спичек мастерили кипятильники – опасные, но чертовски мощные: расстояние между лезвиями в толщину одной спички заставляло трехлитровую банку с водой уже через пару минут яростно подпрыгивать на подоконнике.

Там же, по глупости, я установил свой личный спортивный рекорд. Как-то мы любовались видом пустого спортзала с балюстрады, и Костя невинно спросил: «Слабо в яму прыгнуть?» В армии думать ни к чему, и в следующее же мгновение я перелез через перила и сиганул вниз с четырехметровой высоты. Пока летел, никакая такая жизнь перед глазами не прошла: не успела. Времени хватило только на короткое энергичное слово. Паралон оказался на удивление мягким – в отличие от моих коленок, которые мне чуть зубы не вышибли. О мозгах умолчим.

Перебежчик

А потом случай помог мне нащупать уязвимое место подполковника. Он и его подопечная отправлялись на очередные соревнования, и мне было поручено купить билеты на поезд...

Эта была его самая талантливая ученица, ей прочили олимпийское чемпионство через пару лет. В восемь ее отобрали у живущих в среднеазиатской глубинке родителей и затолкали в общежитие ЦСКА. Ей еще не было двенадцати, когда Клименко стал отрабатывать с ней элементы, разрешенные лишь с четырнадцати. О том, что она после этого вряд ли сможет когда-нибудь стать матерью, ей никто не сказал. Нагрузки были невыносимые – даже первоклашек тренировали с восьми до двенадцати, потом везли в школу, а с четырех до восьми выжимали последнее на вечерней тренировке. Время от времени, после очередного срыва и побоев, девочка ударялась в бег, где-то ночевала, без документов и денег садилась на поезд... А потом ее все равно ловили. Один раз остановили лишь на пятые сутки, на полпути в никуда...

Почему такая мощная организация не могла достать билетов своему лучшему тренеру, для меня так и осталось загадкой. Слава богу, у него под рукой оказался солдат и опыт русских сказок, богатый по части посылок куда подальше за не знамо чем.

...И вот плетусь, куда послали – на площадь Трех Вокзалов. Раньше я в Центральных железнодорожных кассах никогда не бывал. Вхожу – во, ...! Ну и невезение! Это ж надо было именно сегодня начаться Великому переселению народов! Куда бросаться? Тут мой изрядный опыт Очередного Крайнего подсказывает: все эти безнадежные очереди созданы для отвода глаз и маскировки секретного места, где этих билетов навалом. Нужно только произнести что-то вроде «а повернись-ка ты, Центральная железнодорожная касса, ко всем задом, а ко мне передом!» – и билеты у меня в кармане. Пошел прочесывать здание. На третьем этаже почти безлюдно – чую, вот оно! Пристраиваюсь в хвост посетителю, уверенно направляющемуся к заветному окошечку, напрягаю слух и улавливаю: «от Александра Кузмича». Выжидаю немного, чтобы не возбуждать подозрений, потом подхожу внаглую и говорю: мол, Симсим, я тоже от Александра Кузмича! Через пару минут у меня в кармане вместе с билетами – бумажка с телефоном полненькой кассирши Вали, моей дойной буренушки на долгие годы. Как потом выяснилось, она и понятия не имела, кто такой Александр Кузмич...

Так постепенно я стал для нашего Подполкана незаменим. Остальные тренеры тряслись в общем вагоне, а мой хозяин в купе почивал, на нижней полочке. Был у нас один майор-тренер – гнусно-двуличный подхалим с сахарной улыбочкой, по малейшему поводу доносящий на нас шефу. А тут вдруг прознал он, кто истинный благодетель его шефа, и подкатывается – достань и достань! Аж взмолился. Видать, общий вагон ему поперек горла встал. Черт с тобой, думаю, достану. Принес ему верхнее купейное – он от счастья весь засветился. Хоть разок над подполковником... И так он расчувствовался, что, отозвав в сторонку, поклялся отныне стучать в обратном направлении: мне! на своего шефа!

Вот Иуда! Отца родного за одно купейное место продал! Но, надо сказать, перевербовал я майора с осязательной для себя выгодой. Я ведь и раньше, когда шеф со своим наушником куда-то отбывал, на своем посту долго не задерживался. Отработаю хореографию, поставив на пюпитр томик Достоевского и нарубав квадратных восьмитактов – и только меня в спортзале и видели! Но риск был нешуточный. Когда он свои Ватутинки навещал, даже ему самому был неизвестен день и час возвращения. Мои слабые, моей же изворотливостью подточенные нервы не выдерживали. Я срывался и в панике мчался назад, чтобы, проклиная все на свете, без толку маяться в немилом мне храме спорта.

А теперь все устроилось как нельзя лучше. Майор звонил мне домой и шпионским голосом шептал в трубку: «не сегодня!» или «через час!». Короткий звонок Косте, и – глядь – мы оба тут как тут! Сидим, как ни в чем не бывало. Скучаем. И все ж сомнения грызли нутро нашего командира, для которого все солдаты были потенциальными преступниками, и он настороженно спрашивал: «Все в порядке?» Спрашивал только у нас, не решаясь услышать от других неприглядную правду – как муж со свежепрорезавшимися рогами. Подмывало брякнуть: «Так точно, товарищ подполковник! Тела зверски изнасилованных за время Вашего отсутствия гимнасток надежно засыпаны паралоном!»

Форма – парадная!

Долго он позволял себя так дурить. Но всё когда-нибудь кончается.

В этот раз он уехал без майора, и сигнал подать было некому. Сажу в зале. Чувствую – неволю, мозги вскипают, уходить надо! У меня часто бывают такие непреодолимые желания. Когда дневальным «на тумбочке» торчал, знал: если пошевелюсь – схлопочу повторный наряд. Но и самые страшные последствия меня бы не остановили. Да знай я даже, что прекраснейшая из женщин, заснувшая на моей руке, от этого навсегда растает в воздухе – все равно бы пошевелился!

Вот и сейчас нутро диктует мне: смыться надо, не то истлею. Обычно, если надо было тихо раствориться в тайне от вахтеров, я надевал в раздевалке пальто, откуда, вызывая неподдельный интерес спортсменов, бодро направлялся в душевую и смылся через окно. Но сначала нужно было добыть секретную информацию. Слава богу, хватило ума не с вахтерского телефона по рычагу отстучать, а дунуть на другую сторону улицы к телефонному автомату. Звоню медичке Ватутинок и животным военным голосом спрашиваю, не отбыл ли в направлении Москвы товарищ Клименко? И тут чувствую – явно кто-то еще слушает по параллельному, и этот кто-то спрашивает меня вкрадчиво таким родным голосом: «Это кто говорит?» Застукал, чтоб ему! «Майор Браун из ПВО!» – ошалевши выпаливаю я, швыряю трубку и мчусь обратно через широченный Ленинградский проспект, лавируя между машинами. У вахты замедляю ход и оказываюсь как раз во время, чтобы поднять трубку звонящего телефона:

– Гимнастический зал ЦСКА, рядовой Генин слушает!

– Это ты, что ль, в Ватутинки звонил?

– Никак нет!

– Ну-ка, зови вахтера!

А сторожевая бабка его так ласково, по-матерински вразумляет – да вы, Михал Якльч, никак запомнили? – телефон-то вовсе без диска, как с него позвонишь! Да и солдатик, вишь, только подошел...

Не поверил... Приезжает. «Зайди ко мне в кабинет!» Ну, думаю, началось.

Ох, и злой он был тогда! Дело, конечно, было не только во мне: с его братцем Виктором, Олимпийским чемпионом, незадолго до этого нехороший международный скандал приключился. Они тогда советский спорт на пару доили – наш теребил за вымя спортивную, а тот художественную гимнастику. И продавал его братец на международных соревнованиях наших хорошеньких стройненьких гимнасточек членам жюри за первые места. Бойкая торговля шла уже давно, а вскрылась только сейчас – какому-то французскому судье что-то не понравилось, и он всех заложил.

Как-то очень резко я тогда почувствовал, что грязь от советского спорта неотделима, куда не глянь... Но говорили об всем этом у нас в команде только шепотком, неясными намеками...

И надо ж было мне попасться под горячую руку! Наверняка на такую длинную речь прорвало его в первый и последний раз в жизни. Смысл ее был прост: зачем я из него дурака делаю? Странный вопрос! Разве я, недостойный раб Божий, решился бы что-то прибавить к такому законченному произведению Творца нашего?

Стою, как деревянный болванчик. Молчу. А тот переходит к допросу с пристрастием: «Почему не в форме?» Ну, это просто. Не могу же я, в самом деле, сидеть в парадной форме в зале, где выются клубы магнезии! «Да я ж тебя утром за оградой вижу, в гражданской форме!» Так, это немного посложнее. А, была не была! Желудок у меня больной, вот что. И капитан роты ЦСКА (пусть, в случае чего, свою колясочку отрабатывает) разрешил мне в Аэровокзале питаться (неужто он и на это чудовищное вранье купится?..). А в военной форме там появляться, сами понимаете, никак нельзя. «А что ж ты тогда через дальние ворота приходишь?» Ага, значит, червячка всё ж проглотил! Ну, остальное пустяки. Гуляю я после завтрака, вот что! Утренний моцион. Полезно для моих вконец расшатанных Вами нервов. Обезоруженный шеф звереет совсем: «Всё! Хватит! Отправляю в часть! Будешь служить, как все! Где командировочная? Давай сюда!»

Все ясно: у него комплекс «слуги царю, отца солдатам» в безнадежной стадии. Папаша-то с принципами попался. А дите оказалось неблагоприятным, малочувствительным. Розог просит.

Что же делать? Торчать последние месяцы у черта на куличиках? Валить какую-нибудь тайгу с тундрой? Командировочная у меня в кармане, но не сдаваться же без боя! И я решаюсь блефовать до конца: в роте она, мол – как положено, в сейфе. Тут выдержка покидает его окончательно. «Так принеси!!!» – уже не кричит, а рычит эта зверюга – и даже ножками сучит...

Ну-ну, так быстро дела в армии не делаются. Придется подождать – капитана, конечно же, нет на месте. Выяснив по телефону подробности и попросив писаря на время где-нибудь схорониться, я бодро докладываю: никак нет, товарищ подполковник, капитан на своем газике по блядям поехал! а это надолго – он там будет водку жрать и только завтра к полудню отойдет... Но подполковник готов ждать. Он непреклонен.

И я решаю поднимать народ. Иду в зал и извиняюсь перед его женой: невинно пострадавший из-за жестокосердия ее мужа, я больше не смогу на хореографии аккомпанировать ее бедным деткам. Майору сообщаю, что отныне ему предстоит ездить снова в общем вагоне, а всем другим тренерам – что «ковер» им придется работать под фонограмму. И под шумок скрываюсь на время с глаз долой, оставив семена раздора вызревать.

Возвращаюсь через пару часов, и по сочувствующим и ободряющим репликам тренеров понимаю, что гроза позади. Допекли-таки они его своими вопросами, что с ними со всеми и командой без меня будет! Клименко хмуро сообщает, что я остаюсь – до замены. Но отныне военная форма должна стать моей второй кожей! До конца службы.

Смиренно принимаю я это временное помилование. Скромно, как девица на выданье, сижу при полном параде, потупив очи долу. Но мы еще посмотрим, что ты запоешь, когда твоя золотая рыбка на посылках только хвостиком вильнет. Ох, будет тебе разбитое корыто!

Не проходит и трех дней, как он снова посылает меня за билетами на Аэровокзал, до которого рукой подать.

– В форме? Виноват, товарищ подполковник – не имею права!

Он ничего не отвечает, только желваки ходят. А через час сдается – проходя мимо как буркнет: «Переодевайся!» Ах, какой конфуз! Подумать только: действующий подполковник Советской Армии прилюдно приказывает солдату совершить надругательство над уставом!..

Это был последний раз, когда он меня видел в военной форме.